

**Том 29**  
**ДАНИЕЛЬ ДЕФО**  
**ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС**

**Даниэль Дефо**  
**ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ**  
**ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО**

**моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим**

Я родился в 1632 году в городе Йорке в зажиточной семье иностранного происхождения. Мой отец был родом из Бремена и основался сначала в Гулле. Нажив торговлей хорошее состояние, он оставил дела и переселился в Йорк. Здесь он женился на моей матери, родные которой назывались Робинзонами — старинная фамилия в тех местах. По ним и меня называли Робинзоном.

Фамилия отца была Крейцнер, но, по обычаю англичан коверкать иностранные слова, нас стали называть Крузо. Теперь мы и сами так произносим и пишем нашу фамилию; так же всегда звали меня и мои знакомые.

У меня было два старших брата. Один служил во Фландрии, в английском пехотном полку, — том самом, которым когда-то командовал знаменитый полковник Локгарт; он дослужился до чина подполковника и был убит в сражении с испанцами под Дюнкирхеном. Что случилось со вторым моим братом — не знаю, как не знали мои отец и мать, что случилось со мной.

Так как в семье я был третьим, то меня не готовили ни к какому ремеслу, и голова моя с юных лет была набита всякими бреднями. Отец мой, который был уж очень стар, дал мне довольно сносное образование в том объеме, в каком можно его получить, воспитываясь дома и посещая городскую школу. Он прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях и не хотел слушать ни о чем другом. Эта страсть моя к морю так далеко меня завела, что я пошел против воли — более того: против прямого запрещения отца и пренебрег мольбами матери и советами друзей; казалось, было что-то роковое в этом природном влечении, толкавшем меня к горестной жизни, которая досталась мне в удел.

Отец мой, человек степенный и умный, догадывался о моей затее и предостерегал меня серьезно и основательно. Однажды утром он позвал меня в свою комнату, к которой был прикован подагрой, и стал горячо меня укорять. Он спросил, какие другие причины, кроме бродяжнических склонностей, могут быть у меня для того, чтобы покинуть отчий дом и родную страну, где мне легко выйти в люди, где я могу прилежанием и трудом увеличить свое состояние и жить в довольстве и с приятностью. Покидают отчизну в погоне за приключениями, сказал он, или те, кому нечего терять, или честолюбцы, жаждущие создать себе высшее положение; пускаясь в предприятия, выходящие из рамок обыденной жизни, они стремятся поправить дела и покрыть славой свое имя; но подобные вещи или мне не по силам или унизительны для меня; мое место — середина, то есть то, что можно назвать высшею ступенью скромного существования, которое, как он убедился на многолетнем опыте, является для нас лучшим в мире, наиболее подходящим для человеческого счастья, избавленным как от нужды и лишений, физического труда и страданий, выпадающих на долю низших классов, так и от роскоши, честолюбия, чванства и зависти высших классов. Насколько приятна такая жизнь, сказал он, я могу судить уже по тому, что все, поставленные в иные

условия, завидуют ему: даже короли нередко жалуются на горькую участь людей, рожденных для великих дел, и жалеют, что судьба не поставила их между двумя крайностями — ничтожеством и величием, да и мудрец высказывается в пользу середины, как меры истинного счастья, когда молит небо не посылать ему ни бедности, ни богатства.

Стоит мне только понаблюдать, сказал отец, и я увижу, что все жизненные невзгоды распределены между высшими и низшими классами и что меньше всего их выпадает на долю людей среднего состояния, не подверженных стольким превратностям судьбы, как знать и простонародье; даже от недугов, телесных и душевных, они застрахованы больше, чем те, у кого болезни вызываются пороками, роскошью и всякого рода излишествами, с одной стороны, тяжелым трудом, нуждой, плохим и недостаточным питанием — с другой, являясь, таким образом, естественным последствием образа жизни. Среднее состояние — наиболее благоприятное для расцвета всех добродетелей, для всех радостей бытия; изобилие и мир — слуги его; ему сопутствуют и благословляют его умеренность, воздержанность, здоровье, спокойствие духа, общительность, всевозможные приятные развлечения, всевозможные удовольствия. Человек среднего состояния проходит свой жизненный путь тихо и гладко, не

обременяя себя ни физическим, ни умственным непосильным трудом, не продаваясь в рабство из-за куска хлеба, не мучаясь поисками выхода из запутанных положений, лишаящих тело сна, а душу покоя, не снедаемый завистью, не сгорая втайне огнем честолюбия. Окруженный довольством, легко и незаметно скользит он к могиле, рассудительно вкушая сладости жизни без примеси горечи, чувствуя себя счастливым и научаясь každодневым опытом понимать это все яснее и глубже.

Затем отец настойчиво и очень благожелательно стал упрашивать меня не ребячиться, не бросаться, очертя голову, в омут нужды и страданий, от которых занимаемое мною по моему рождению положение в свете, казалось, должно бы оградить меня. Он говорил, что я не поставлен в необходимость работать из-за куска хлеба, что он позаботится обо мне, постарается вывести меня на ту дорогу, которую только что советовал мне избрать, и что если я окажусь неудачником или несчастным, то должен буду пенять лишь на злой рок или на собственную оплошность. Предостерегая меня от шага, который не принесет мне ничего, кроме вреда, он исполняет таким образом свой долг и слагает с себя всякую ответственность; словом, если я останусь дома и устрою свою жизнь согласно его указаниям, он

будет мне добрым отцом, но он не приложит руку к моей гибели, поощряя меня к отъезду. В заключение он привел мне в пример моего старшего брата, которого он также настойчиво убеждал не принимать участия в нидерландской войне, но все его уговоры оказались напрасными: увлеченный мечтами, юноша бежал в армию и был убит. И хотя (так закончил отец свою речь) он никогда не перестанет молиться обо мне, но объявляет мне прямо, что, если я не откажусь от своей безумной затеи, на мне не будет благословения Божия. Придет время, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда, может статься, некому будет помочь мне исправить сделанное зло.

Я видел, как во время последней части этой речи (которая была поистине пророческой, хотя, я думаю, отец мой и сам этого не подозревал) обильные слезы заструились по лицу старика, особенно, когда он заговорил о моем убитом брате; а когда батюшка сказал, что для меня придет время раскаяния, но уже некому будет помочь мне, то от волнения он оборвал свою речь, заявив, что сердце его переполнено и он не может больше вымолвить ни слова.

Я был искренно растроган этой речью (да и кого бы она не тронула?) и твердо решил не думать более об отъезде в чужие края, а основаться на

родине, как того желал мой отец. Но увы! — прошло несколько дней, и от моего решения не осталось ничего: словом, через несколько недель после моего разговора с отцом я, во избежание новых отцовских увещеваний, порешил бежать из дому тайно. Но я сдержал первый пыл своего нетерпения и действовал не спеша: выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была более обыкновенного в духе, я отвел ее в уголок и сказал ей, что все мои помыслы до такой степени поглощены желанием видеть чужие края, что, если даже я и пристроюсь к какомунибудь делу, у меня все равно не хватит терпения довести его до конца и что пусть лучше отец отпустит меня добровольно, так как иначе я буду вынужден обойтись без его разрешения. Я сказал, что мне восемнадцать лет, а в эти годы поздно учиться ремеслу, поздно готовиться в юристы. И если бы даже, допустим, я поступил писцом к стряпчему, я знаю наперед, что побегу от своего патрона, не дотянув срока искуса, и уйду в море. Я просил мать уговорить батюшку отпустить меня путешествовать в виде опыта; тогда, если такая жизнь мне не понравится, я ворочусь домой и больше уже не уеду; и давал слово наверстать удвоенным прилежанием потерянное время.

Мои слова сильно разгневали мою матушку. Она сказала, что бесполезно и заговаривать с отцом

на эту тему, так как он слишком хорошо понимает, в чем моя польза, и не согласится на мою просьбу. Она удивлялась, как я еще могу думать о подобных вещах после моего разговора с отцом, который убеждал меня так мягко и с такой добротой. Конечно, если я хочу себя погубить, этой беде не пособить, но я могу быть уверен, что ни она, ни отец никогда не дадут своего согласия на мою затею; сама же она нисколько не желает содействовать моей гибели, и я никогда не вправе буду сказать, что моя мать потакала мне, когда отец был против.

Впоследствии я узнал, что хотя матушка и отказалась ходатайствовать за меня перед отцом, однако передала ему наш разговор от слова до слова. Очень озабоченный таким оборотом дела, отец сказал ей со вздохом: «Мальчик мог бы быть счастлив, оставшись на родине, но, если он пустится в чужие края, он будет самым жалким, самым несчастным существом, какое когда либо рождалось на земле. Нет, я не могу на это согласиться».

Только без малого через год после описанного я вырвался на волю. В течение всего этого времени я упорно оставался глух ко всем предложениям пристроиться к какому нибудь делу и часто укорял отца и мать за их решительное предубеждение против того рода жизни, к которому меня влекли



мои природные склонности. Но как то раз, во время пребывания моего в Гулле, куда я заехал случайно, на этот раз без всякой мысли о побеге, один мой приятель, отправлявшийся в Лондон на корабле своего отца, стал уговаривать меня уехать с ним, пуская в ход обычную у моряков приманку, а именно, что мне ничего не будет стоить проезд. И вот, не спросившись ни у отца, ни у матери, даже не уведомив их ни одним словом, а предоставив им узнать об этом как придется, — не испросив ни родительского, ни Божьего благословения, не приняв в расчет ни обстоятельств данной минуты, ни последствий, в недобрый — видит Бог! — час, 1-го сентября 1651 года, я сел на корабль моего приятеля, отправлявшийся в Лондон. Никогда, я думаю, злоключения молодых искателей приключений не начинались так рано и не продолжались так долго, как мои. Не успел наш корабль выйти из устья Гумбера, как подул ветер, и началось страшное волнение. До тех пор я никогда не бывал в море и не могу выразить, до чего мне стало плохо и как была потрясена моя душа. Только теперь я серьезно задумался над тем, что я натворил и как справедливо постигла меня небесная кара за то, что я так бессовестно покинул отчий дом и нарушил сыновний долг. Все добрые советы моих родителей, слезы отца, мольбы матери воскресли в моей памяти, и совесть, которая в то время еще не

успела у меня окончательно очерстветь, сурово упрекала меня за пренебрежение к родительским увещаниям и за нарушение моих обязанностей к Богу и отцу.

Между тем ветер крепчал, и по морю ходили высокие волны, хотя эта буря не имела и подобия того, что я много раз видел потом, ни даже того, что мне пришлось увидеть спустя несколько дней. Но и этого было довольно, чтобы ошеломить такого новичка в морском деле, ничего в нем не смыслившего, каким я был тогда. С каждой новой накатывавшейся на нас волной я ожидал, что она нас поглотит, и всякий раз, когда корабль падал вниз, как мне казалось, в пучину или хлябь морскую, я был уверен, что он уже не поднимется кверху. И в этой муке душевной я твердо решался и неоднократно клялся, что, если Господу будет угодно пощадить на этот раз мою жизнь, если нога моя снова ступит на твердую землю, я сейчас же ворочусь домой к отцу и никогда, покуда жив, не сяду больше на корабль; я клялся послушаться отцовского совета и никогда более не подвергать себя таким невзгодам, какие тогда переживал. Теперь только я понял всю верность рассуждений отца насчет золотой середины; для меня ясно стало, как мирно и приятно прожил он свою жизнь, никогда не подвергаясь бурям на море и не страдая от передряг на берегу, и я решил вернуться в

родительский дом с покаянием, как истинный блудный сын.

Этих трезвых и благоразумных мыслей хватило у меня на все время, покуда продолжалась буря, и даже еще на некоторое время; но на другое утро ветер стал стихать, волнение поулеглось, и я начал понемногу осваиваться с морем. Как бы то ни было, весь этот день я был настроен очень серьезно (впрочем, я еще не совсем оправился от морской болезни); но к концу дня погода прояснилась, ветер прекратился, и наступил тихий, очаровательный вечер; солнце зашло без туч и такое же ясное встало на другой день, и гладь морская при полном или почти полном безветрии, вся облитая сиянием солнца, представляла восхитительную картину, какой я никогда еще не видывал.

Ночью я отлично выспался, и от моей морской болезни не осталось и следа. Я был очень весел и с удивлением смотрел на море, которое еще вчера бушевало и грохотало и могло в такое короткое время затихнуть и принять столь привлекательный вид. И тут то, словно для того, чтобы разрушить мои благие намерения, ко мне подошел мой приятель, сманивший меня ехать с ним, и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Ну что, Боб, как ты себя чувствуешь после вчерашнего? Пари держу, что ты испугался, — признайся: ведь испугался вчера, когда задул ветерок?» — «Ветерок? Хорош

ветерок! Я и представить себе не мог такой ужасной бури!» — «Бури! Ах ты чудак! Так, по твоему, это буря? Что ты! Пустяки! Дай нам хорошее судно да побольше простору, так мы такого шквалика и не заметим. Ну, да ты еще неопытный моряк, Боб. Пойдем ка лучше сварим себе пуншу и забудем обо всем. Взгляни, какой чудесный нынче день!» Чтоб сократить эту грустную часть моей повести, скажу прямо, что дальше пошло как обыкновенно у моряков: сварили пунш, я напился пьян и потопил в грязи этой ночи все мое раскаяние, все похвальные размышления о прошлом моем поведении и все мои благие решения относительно будущего. Словом, как только поверхность моря разгладилась, как только после бури восстановилась тишина, а вместе с бурей улеглись мои взбудораженные чувства, и страх быть поглощенным волнами прошел, так мысли мои потекли по старому руслу, и все мои клятвы, все обещания, которые я давал себе в минуты бедствия, были позабыты. Правда, на меня находило порой просветление, серьезные мысли еще пытались, так сказать, воротиться, но я гнал их прочь, боролся с ними, словно с приступами болезни, и при помощи пьянства и веселой компании скоро восторжествовал над этими припадками, как я их называл; в какие нибудь пять-шесть дней я одержал такую полную победу

над своей совестью, какой только может пожелать себе юнец, решившийся не обращать на нее внимания. Но мне предстояло еще одно испытание: Провидение, как всегда в таких случаях, хотело отнять у меня последнее оправдание; в самом деле, если на этот раз я не понял, что был спасен им, то следующее испытание было такого рода, что тут уж и самый последний, самый отпетый негодяй из нашего экипажа не мог бы не признать как опасности, так и чудесного избавления от нее.

На шестой день по выходе в море мы пришли на ярмутский рейд. Ветер после шторма был все время противный и слабый, так что мы подвигались тихо. В Ярмуте мы были вынуждены бросить якорь и простояли при противном, а именно юго-западном, ветре семь или восемь дней. В течение этого времени на рейд пришло из Ньюкасла очень много судов. Ярмутский рейд служит обычным местом стоянки для судов, которые ожидают здесь попутного ветра, чтобы войти в Темзу.

Мы, впрочем, не простояли бы так долго и вошли бы в реку с приливом, если бы ветер не был так свеж, а дней через пять не задул еще сильнее. Однако, ярмутский рейд считается такой же хорошей стоянкой, как и гавань, а якоря и якорные канаты были у нас крепкие; поэтому наши люди нисколько не тревожились, не ожидая опасности, и

делили свой досуг между отдыхом и развлечениями, по обычаю моряков. Но на восьмой день утром ветер еще посвежел, и понадобились все рабочие руки, чтоб убрать стеньги и плотно закрепить все, что нужно, чтобы судно могло безопасно держаться на рейде. К полудню развело большое волнение; корабль стало сильно раскачивать; он несколько раз черпнул бортом, и два раза нам показалось, что нас сорвало с якоря. Тогда капитан скомандовал отдать шварт. Таким образом мы держались на двух якорях против ветра, вытравив канаты до конца.

Тем временем разыгрался жесточайший шторм. Растерянность и ужас читались теперь даже на лицах матросов. Я несколько раз слышал, как сам капитан, проходя мимо меня из своей каюты, бормотал вполголоса: «Господи, смилуйся над нами, иначе все мы погибли, всем нам пришел конец», что не мешало ему, однако, зорко наблюдать за работами по спасению корабля. Первые минуты переполоха оглушили меня: я неподвижно лежал в своей каюте под лестницей, и даже не знаю хорошенько, что я чувствовал. Мне было трудно вернуться к прежнему покаянному настроению после того, как я так явно пренебрег им и так решительно разделался с ним: мне казалось, что ужасы смерти раз навсегда миновали и что эта буря окончится ничем, как и первая. Но когда сам

капитан, проходя мимо, как я только что сказал, заявил, что мы все погибнем, я страшно испугался. Я вышел из каюты на палубу: никогда в жизни не приходилось мне видеть такой зловещей картины: по морю ходили валы вышиной с гору, и каждые три, четыре минуты на нас опрокидывалась такая гора. Когда, собравшись с духом, я оглянулся, кругом царил ужас и бедствие. Два тяжело нагруженные судна, стоявшие на якоре неподалеку от нас, чтоб облегчить себя, обрубили все мачты. Кто то из наших матросов крикнул, что корабль, стоявший в полумиле от нас впереди, пошел ко дну. Еще два судна сорвало с якорей и унесло в открытое море на произвол судьбы, ибо ни на том, ни на другом не оставалось ни одной мачты. Мелкие суда держались лучшие других и не так страдали на море; но два-три из них тоже унесло в море, и они промчались борт-о-борт мимо нас, убрав все паруса, кроме одного кормового кливера.

Вечером штурман и боцман приступили к капитану с просьбой позволить им срубить фок-мачту. Капитану очень этого не хотелось, но боцман стал доказывать ему, что, если фок-мачту оставить, судно затонет, и он согласился, а когда снесли фок-мачту, грот-мачта начала так качаться и так сильно раскачивать судно, что пришлось снести и ее и таким образом очистить палубу.

Можете судить, что должен был испытывать

все это время я — совсем новичок в морском деле, незадолго перед тем так испугавшийся небольшого волнения. Но если после стольких лет память меня не обманывает, не смерть была мне страшна тогда: во сто крат сильнее ужасала меня мысль о том, что я изменил своему решению принести повинную отцу и вернулся к своим первоначальным проклятым химерам, и мысли эти в соединении с боязнью бури приводили меня в состояние, которого не передать никакими словами. Но самое худшее было еще впереди. Буря продолжала свирепствовать с такой силой, что, по признанию самих моряков, им никогда не случалось видеть подобной. Судно у нас было крепкое, но от большого количества груза глубоко сидело в воде, и его так качало, что на палубе поминутно слышалось: «Захлестнет, кренит». В некотором отношении для меня было большим преимуществом, что я не вполне понимал значение этих слов, пока не спросил об этом. Однако, буря бушевала все с большей яростью, и я увидел — а это не часто увидишь — как капитан, боцман и еще несколько человек, у которых чувства, вероятно, не так притупились, как у остальных, молились, ежеминутно ожидая, что корабль пойдет ко дну. В довершение ужаса вдруг среди ночи один из людей, спустившись в трюм поглядеть, все ли там в порядке, закричал, что судно дало течь, другой



посланный донес, что вода поднялась уже на четыре фута. Тогда раздалась команда: «Всем к помпе!» Когда я услышал эти слова, у меня замерло сердце, и я упал навзничь на койку, где я сидел. Но матросы растолкали меня, говоря, что если до сих пор я был бесполезен, то теперь могу работать, как и всякий другой. Тогда я встал, подошел к помпе и усердно принялся качать. В это время несколько мелких грузовых судов, будучи не в состоянии выстоять против ветра, снялись с якоря и вышли в море. Заметив их, когда они проходили мимо, капитан приказал выпалить из пушки, чтобы дать знать о нашем бедственном положении. Не понимая значения этого выстрела, я вообразил, что судно наше разбилось или вообще случилось что нибудь ужасное, словом, я так испугался, что упал в обморок. Но так как каждому было в пору заботиться лишь о спасении собственной жизни, то на меня не обратили внимания и не поинтересовались узнать, что приключилось со мной. Другой матрос стал к помпе на мое место, оттолкнув меня ногой и оставив лежать, в полной уверенности, что я упал замертво; прошло немало времени, пока я очнулся.

Мы продолжали работать, но вода поднималась в трюме все выше. Было очевидно, что корабль затонет, и хотя буря начинала понемногу стихать, однако не было надежды, что он сможет

продержаться на воде, покуда мы войдем в гавань, и капитан продолжал палить из пушек, взывая о помощи. Наконец, одно мелкое судно, стоявшее впереди нас, рискнуло спустить шлюпку, чтобы подать нам помощь. С большой опасностью шлюпка приблизилась к нам, но ни мы не могли подойти к ней, ни шлюпка не могла причалить к нашему кораблю, хотя люди гребли изо всех сил, рискуя своей жизнью ради спасения нашей. Наши матросы бросили им канат с буйком, вытравив его на большую длину. После долгих напрасных усилий тем удалось поймать конец каната; мы притянули их под корму и все до одного спустились к ним в шлюпку. Нечего было и думать добраться в ней до их судна; поэтому с общего согласия было решено грести по ветру, стараясь только держать по возможности к берегу. Наш капитан пообещал чужим матросам, что, если лодка их разобьется о берег, он заплатит за нее их хозяину. Таким образом, частью на веслах, частью подгоняемые ветром, мы направились к северу в сторону Винтертон-Несса, постепенно заворачивая к земле.

Не прошло и четверти часа с той минуты, когда мы отчалили от корабля, как он стал погружаться на наших глазах. И тут то впервые я понял, что значит «захлестнет». Должен однако, сознаться, что я почти не имел силы взглянуть на корабль, услышав крики матросов, что он тонет,

ибо с момента, когда я сошел или, лучше оказать, когда меня сняли в лодку, во мне словно все умерло частью от страха, частью от мыслей о еще предстоящих мне злоключениях.

Покуда люди усиленно работали веслами, чтобы направить лодку к берегу, мы могли видеть (ибо всякий раз, как лодку подбрасывало волной, нам виден был берег) — мы могли видеть, что там собралась большая толпа: все суетились и бегали, готовясь подать нам помощь, когда мы подойдем ближе. Но мы подвигались очень медленно и добрались до земли, только пройдя Винтертонский маяк, где между Винтертоном и Кромером береговая линия загибается к западу и где поэтому ее выступы немного умеряли силу ветра. Здесь мы пристали и, с великим трудом, но все таки благополучно выбравшись на сушу, пошли пешком в Ярмут. В Ярмуте, благодаря постигшему нас бедствию, к нам отнеслись весьма участливо: город отвел нам хорошие помещения, а частные лица — купцы и судохозяева — снабдили нас деньгами в достаточном количестве, чтобы доехать до Лондона или до Гулля, как мы захотим.

О, почему мне не пришло тогда в голову вернуться в Гуль в родительский дом! Как бы я был счастлив! Наверно, отец мой, как в Евангельской притче, заколол бы для меня откормленного теленка, ибо он узнал о моем

спасении лишь через много времени после того, как до него дошла весть, что судно, на котором я вышел из Гулля, погибло на ярмутском рейде.

Но моя злая судьба толкала меня все на тот же гибельный путь с упорством, которому невозможно было противиться; и хотя в моей душе, неоднократно раздавался трезвый голос рассудка, звавший меня вернуться домой, но у меня не хватило для этого сил. Не знаю, как это назвать, и потому не буду настаивать, что нас побуждает быть орудиями собственной своей гибели, даже когда мы видим ее перед собой и идем к ней с открытыми глазами, тайное веление всемогущего рока; но несомненно, что только моя злосчастная судьба, которой я был не в силах избежать, заставила меня пойти наперекор трезвым доводам и внушениям лучшей части моего существа и пренебречь двумя столь наглядными уроками, которые я получил при первой же попытке вступить на новый путь.

Сын нашего судохозяина, мой приятель, помогший мне укрепиться в моем пагубном решении, присмирел теперь больше меня: в первый раз как он заговорил со мной в Ярмуте (что случилось только через два или три дня, так как нам отвели разные помещения), я заметил, что тон его изменился. Весьма сумрачно настроенный) он спросил меня, покачивая головой, как я себя чувствую. Объяснив своему отцу, кто я такой, он